

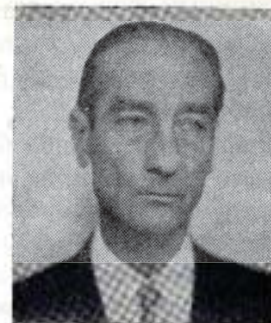
любие. И вот за ней четыре десятка лет добротолубного делания, узнанного сердцем блага.

И другая и третья — знали его еще в Крыму, и там и в Париже были в его окружении, и в его благом влиянии, для них незабываемом. Умирал он на руках троих монахинь тяжелым, долгим умиранием, не без момента яркого просияния (как это бывает и у других). И в нашей священнической линии произносилось прошение, кажется, им же составленное, об ускорении часа смертного.

Большое Человеческое Величит Бога: » «И больша сих со-творите».

В днях Богоявления 1972 год

К. Я. АНДРОНИКОВ



«РЕВНОСТЬ ПО ДОМЕ ТВОЕМ»

Уже больше знаешь людей умерших, чем живых, две стороны «диптиха» не равны: многозначительно длиннее черный помятник. Но несколько имен и в нем горят красными письменами. Самое блестящее среди них: отец Сергей.

Все же, запрос «Вестника» берет врасплох: «Если Вы знали лично о. Сергия, какую роль сыграла встреча с ним в Вашей жизни, и в развитии Вашей мысли знакомство с его произведениями; и как Вы расцениваете теперь его творчество?» На два первых вопроса, пожалуй, ответить могу без нарочитого размышления, поскольку речь идет о личном восприятии, в моем существе, и оно глубокое. А на третий вопрос? (Да еще он задается за две недели до выхода номера). Тут я по-детски растерян и чтоб не остаться безголосым на призыв, могу только намекнуть, в беспорядке поспешности, на то, что мне представляется неотразимо ясным и ярким в творчестве Булгакова, как его будут называть не только историки (прошлого), но и все богословы (занимающиеся вечным, настоящим и новым в Церкви).

А что светлее всего держится, как пламя, в памяти, это во-первых личность отца Сергия. От его лица, а потом уже от его трудов, словесно подтверждающих и развивающих этот бытовой огонь, стало ясно, что подлинный жизненный путь человека — подвиг и пророчество в действии; что для писателя, поэта, философа это означает подвиг и пророчество мысли и слова в свободе, т. е. служение истине, сиречь — жизнь в Церкви. Без Бога Слова, мир действительно «прогорк» (как раз обратно тому, о чем порой горевал Розанов) а я, в этом горьком миру, лишь пузырь

или призрак, бродящий по поверхности безликого, бессмысленного и далеко не тихого океана.

При всей надлежащей скромности, следует-ли, во имя пассивной «объективности», отрывать от своих «субъективных» восприятий и собственной биографии мысль о крупнейшем человеке и о его творчестве первостепенной важности в нашей истории. Именно потому, что о. Сергей Булгаков — **чрезвычайный субъект**, т. е. деятель современности, думать о нем требует прежде всего определения, хотя бы очертания, личного отношения к нему, реакции на него, на то, что он **дал и задал**, от чего именно в глубокой степени зависит и своя собственная принадлежность к жизни и заданию времени и, по возможности, свое участие в них, не как неодушевленный предмет, количественный элемент социальной статистики, а как сознательное, ответственное и действенное, хотя бы и маловажное лицо.

Говоря об истории, я конечно имею в виду ту подлинную историю, о которой размышлял о. Сергей, где свершаются судьбы мира, т. е. обещание и воля Божия о Царстве Своем; иными словами, историю христианства; точно — Церкви, осуществление которой метаисторично, эсхатологично.

И это первый урок о. Сергия (однако, тут-же себя спрашиваешь: где первый, где второй, где последний? Такая порядковая шкала имеет смысл только для постепенности разума и его «синтаксиса», а не для духа и «жизни жительствующей». Этим и объясняется принципиальная невозможность свести, «редуцировать» живое лицо и живую мысль к какой либо сокращенной схеме, которая целью выражала бы истину о человеке и о его деятельности на земле, в пространстве и времени. Чтобы их поистине постичь, нужно не извлекать из них систему, а в них вживаться). Но поскольку даешь себе задание философствовать, т. е. описывать истину, на что посвятил себя Булгаков, то приходится подчиняться законам дискуссии, рационального изложения по мере исследования и по степени мышления; и о. Сергей, неизбежно последовательно, строил систему. Но все его **априорные** положения, т. е. истины веры, на которых основывал и из которых выводил систему, — на лицо, все на первом, на единственном «плане» тайны единосушья, **омоусиоса**, следуя в этом гениально разработанной центральной интуиции своего лучшего друга и сподвижника, о. Павла Флоренского: Истина и, следовательно, источник всякого умствования — Пресвятая Троица. «Догмат Троици является... неизбежным основанием всякой философской мысли... Истина о Свя-

той Троице, взятая в ее полноте, является единственно возможным основанием гармонической философской системы. Таким образом устанавливается связь между философией, как естественной проблематикой человеческого разума, и догмой, как богооткровенным ответом на нее» (**Трагедия Философии**).

Итак, скажем условно, что первый урок Булгакова, это, что «история мира совершается на небе и на земле и под землею» (**Апокалипсис**). Вся вселенная, пространственная и за-предельная, временная и вечная, вся совокупность человеков и бесплотных, живых и мертвых, все существа по сю- и по ту-сторонние творят и развивают, или тормозят и искажают историю творения, которая протекает между началом, т. е. изгнанием из Царства, и неизбежным концом, т. е. окончательной оценкой и восстановлением в Царстве, «его же не будет конца». Настоящее дело в том, что «мир создан Богом как Церковь в своем основании и своем совершении». Следовательно, «судьба мира есть история Церкви» (**Очерк учения о Церкви**, Путь, 1/7).

Из этого изначального положения вероисповедной истины, Булгаков так наглядно и логично показывает, что «в христианстве зарождается новое чувство жизни, что человеку не надлежит убегать из мира, но что Христос приходит в мир на брачную вечерю Агнца, праздник **Богочеловечества**» (**Агнец Божий**).

На этом поприще, пройденный Булгаковым жизненный путь еще более важен и, может быть, плодотворен, чем его философское и богословское наследство. О последнем будут спорить (хотя и не так легко будет оспаривать) — до сих пор никто за это не взялся. Единственная проделанная попытка была направлена на осуждение, со стороны враждебной фракции иерархической власти, но оказалась грубым недоразумением, не только не состоятельной, а буквально безграмотной: большинство аргументов несли в себе-же доказательство того, что их авторы Булгакова не читали или не домыслили; несомненно, самые «щепетильные» места не так легко освоить, если не вчитаться во **все** богословие Булгакова, в частности в страницы, в которых он подробно объясняет почему и как он богословствует (**Свет Невечерний, Догмат и Догматика, Трагедия Философии** и т. д.). А о его жизненном подвиге следует размышлять с благоговением. На этом пути он был пророком и свидетелем. На этих степенях библейского звания и церковного делания он стоит и останется. А труды его — иллюстрация, выражение во вне внутреннего умственного делания. «Ты был апостолом в твоей жизни, мы дерзаем это сказать... Ты был

христианским мудрецом, ты — учитель церковный в чистом и возвышенном смысле слова. Ты был просвещен от Духа Святого... которому ты посвятил свой ученый труд. Он претворил в твоей душе **Савла в Павла**». (Митр. Евлогий: Слово перед чином отпевания о. Сергия).

Уместно, ибо точнее всего, прибегнуть именно к образам Писания (которые почему-то всегда стесняются применять к людям, кроме как к давно отошедшим в прошлое святым, тогда как именно к нам обращены и должны служить мерилом), чтобы напомнить о биографическом пути о. Сергия: он вышел из священнической среды беспрерывно дававшей иереев (с времен царя Алексея Михайловича), действительно вышел в мир, как блудный сын; однако не продав всей доли своего наследства, лишь припрятав талант. Но ему был дарован не один: веру он зарыл, как раб, но сохранил любовь к истине и ревнивую надежду ее открыть, как волхв. И как «подлинный Израилтянин, в котором нет лукавства», он посвятил свою ревность исканию. И показал себя праведником. Честно и отверженно ища правды здесь, сейчас, он с кафедры проповедует и в кабинете пытается доказать благополучно безбожное и марксистское царство хозяйства. Но сам процесс его «объективного» оправдания требует проверки не только на фактах, но и испытанием беспощадной логики, т. е. проверки философии Маркса и материализма философией-же. Со страданием, Булгаков должен склониться перед очевидностью: не только факты никак «не клеются», но сама диалектика ума доказывает, что от здания экономического материализма, помимо его уважительного морального пафоса (т. е., к тому-же душевного, а не материального), остаются одни развалины и что Маркс — не живой властитель умов и истории, которому должно служить, а труп, вокруг которого сгущаются сомнительные «орлы».

Не менее известно, как, с вновь обретенной верой, но, на этот раз решающий раз, не в частичную правду, а в Абсолютную Истину, Булгаков возвращается в Отчий дом, чтобы стать «верным рабом» Господним, т. е. свободным и творческим наследником непреходящего Царства. Булгаков становится не только служителем, но и ярким учителем Церкви.

Этот путь души человека — от тьмы стихийной утопии самодовлеющего материального устройства земли к христианскому мирозерцанию и созиданию, от подчиненного смерти мира антихриста к жизни в Церкви при деятельном ожидании Второго Пришествия, — и есть пророческий путь, начертанный для русской интел-

лигенции одним из самых передовых и духоносных личностей среди такой поразительной кучки ее представителей, воззвавших и услышанных «из глубины». Впрочем, в сию минуту истории, стало достаточно ясно, что этот горный путь должен быть пройден не только русской интеллигенцией, да и вообще не только интеллигентами, не теряя надежду даже на то, чтобы продолжать и развивать нашу культуру и наш мир, а то и просто сохранить их и донести до положенного, нам неизвестного времени, т. е. их **спасти**.

Лично, в моем молекулярном отрезке мирового времени, какую роль имело соприкосновение, а потом живое сношение с **религией**. «Религия есть жажда божественного, неутоленная, но утоляемая, зов земли к небу и ответный голос с неба. Не всем дано в одинаковой мере знать в своем личном опыте оба полюса религиозного переживания: зов и ответ. Многие знают муку религиозной жажды гораздо сильнее, чем радость ее утоления» (**Тихие Думы**).

Париж, 1941-й год. Война. Оккупация. Пылание внешней истории и жуткий холод, растерянное терзание личной жизни. От официальной военной повинности освобожден, подпольная борьба — не по нутру, обреченная на ложь пустых идеологий и маскировку просто не соразмерную с результатами. Да и не в **этом** дело, «только это, а не то». Неумолкаемый вопрос всех духовных подростков: кто ты, куда и за кем идти, за что? Литература — эстетична, но и пуста без философии; последняя — бесплодна, когда не дает содержания жизни; наука — суха до пустынности, нет в ней ответа ни на одно «почему» и ни «кого» в ней нету. Будучи по всей вероятности духовно не очень одаренным молодым человеком, я лишь присутствовал на службах, богословской «проблематикой» почти не волновался, да и мало что о ней знал, еще меньше сознавал пути церковные. И все-же, все-же, несмотря на лепет чтеца, на поразительную редкость последовательности в проповедях, на патоку хорового сладко-пения, растворяющего и без того не ясные слова, на отсутствие всякого истолкования умственного или мистического содержания, на всю эту внешность обряда и церковнослужителей, вызывающую скорее «эмоции» и «настроение», чем вдохновение, — из этой гармоничной совокупности, в присутствии прозорливых икон, сочилось куда-то в личную глубину что-то дивное, необходимое, незаменимое, намекающее на самое главное, на «единое на потребу» теперь искомое, но все же непонятное.

Было вполне логично пойти спросить «глаголы жизни» и дорогу в этот светло-туманный Китеж там, где специалисты этого дела естественно должны были эти глаголы объяснять и ключ вручать: в духовной школе, с трепетной надеждой обрести посвящение, чуть-ли не святость.

Парижский Богословский Институт до того славился, что вызывал опасение у ортодоксальных церковных людей и недоуменную улыбку среди светских (впрочем, по своему, не менее благочестивых, чем те). Поступление в духовную академию рассматривалось первыми чуть-ли не как монашеское пострижение, бесповоротный уход из мира, а последними — не то как дворянская блажь, не то как интеллигентское самодурство.

Так, ища **арканы** и гностических эонов, застенчиво поднялся я по распластанным ступенькам холма Свято-Сергиевского Подворья, казавшегося грозным, как обитель, и мудрым, как лес; и боком переступил порог секретарского присутствия. Попал в запыленную библиотечку. Оказалось что дело состояло в том, чтобы «грысть гранит науки», по суровым словам профессора Карташева, т. е. зубрить предметы вовсе не мистической программы курсов. Извольте включиться в череду зубривших и зубрящих студентов, в большинстве уже поседевших, голодных, под угрозой ссылки на работы в Германию, и сидящих в голых, кроме иконы Паламы, и, как у себя дома, холодных помещениях.

И вот курс об Откровении Иоанна, знаменательная последняя академическая работа о. Сергия (что тогда знать не могли). В комнатухе с засаленными оконцами и книгами, на скрипящих стульях, вокруг хромого столика, за которым восседает не большой Моисей Микел-Анджело. Не голосом, а каким-то иступленным хрипом (ему вообще запрещено врачами говорить), с припертым дыханием через трубку, вонзенную в горло, где она дергается и он ее теребит, Булгаков, с ошеломляющей простотой и с проникновенным жаром ликования, трактует о тайне, о Церкви, о Троице; но и научно-критически разбирает текст. Немедленно ум и сердце слушателя загораются: «можно сказать, что способность к радости является одним из важных мерил духовного состояния» (**Тихие Думы**).

Какую роль «сыграли тогда в моей жизни и мысли знакомство с его личностью и непосредственное проникновение в его творчество, и как их оцениваю теперь?» Итог можно будет наметить только на смертном одре, да скорее еще после, только тогда, когда будут налицо все данные, как и для всякого человека, вклю-

чая и самого себя. А пока набросаю просто пунктиром, как бы на лад импрессионистов, наиболее яркие, вдохновляющие черты этого великого, примерного и **цельного** человека, поневоле беспорядочно, без приоритетов, и по преимуществу его-же словами.

«Бог есть — поет небо, земля и мировые бездны. Бог есть — откликаются бездны человеческого сознания и творчества» (**Свет Невечерний**). Все богословствование и состоит в размышлении над этим «есть», в изучении и описании этих «бездн», в их взаимоотношении. **«Бог и мир»**: так точно суммировал целеустремленность Булгакова его внимательный и пронизательно любящий спутник, Л. А. Зандер, давший такое заглавие своей двух-томной полнейшей и яснейшей толковой хрестоматии трудов о. Сергия.

Если Бог — Творец всего бытия, а человек — микрокосм (т. е. он возглавляет и «рекапитулирует» вселенную, а не наоборот, не она его поглощает), онтологическая связь между ними, бытийный корень мира и познаваемый сущий на небе как и на земле — Тот, «Им же вся быша», Который из Троицы воплотился и открылся: Богочеловек. Этот догмат, по существу, является таким образом основой и условием **сине ква нон** всякого богословствования. О. Сергий с поразительной последовательностью это излагает и распространяет на все догматы. Они именно имеют **богочеловеческий** характер, как и Логос из которого исходят. «Догмат не есть столько формула сознания и знания, ибо свидетельствует о непостижимом для нас, сколько указание пути, истины и цели религиозной жизни. В него **вживаются**, и жизнь в Церкви есть не что иное, как это вживание в догматы, приобщение к тайнам божественной жизни... Но догмат имеет и философский смысл» (**Трагедия Филос.**).

Отсюда «должны быть связаны между собою алтарь» — литургическая, молитвенная деятельность в созерцании тайны — «и рабочая келлия богослова, вдохновения которого, в глубочайших своих первоисточниках, должны исходить от алтаря» (**Догмат и догматика**). Если стоит здесь подчеркнуть самые живительные уроки о. Сергия, опять таки в цельности жизни и мысли, то это — «аскеза труда и научный долг», в чем он был безупречен (до того, что его даже в этом упрекали поспешные читатели или переводчики, вроде меня). И не сам-ли он обретал перед престолом евхаристии названия своих произведений?

Но, как и Богочеловек, догматы «не связывают творчества в его свободном вдохновении, но его определяют, как данная, хотя и сокровенная, истина» (**Догм. и догматика**). И это его

незабвенный урок о смысле творчества в Церкви, по завету Христа: «Делайте, ибо Я делаю!» Кто из учеников о. Сергия не помнит его одновременно восторженное и перед Преданием смиренное слово: «Дерзайте!» И его излюбленные цитаты, в которые он приглашал вживаться: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос!» (Гал. 5,1); а по поводу аскезы и долга свидетельства: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ» (I Птр. III,15).

И жизнью и писаниями, о. Сергий действительно «давал отчет» в реальности своего посвящения Истине. Продолжение догматического, церковного творчества, «после семи вселенских соборов, должно явиться живой связью между ними и современностью» (**На путях догмы**). Нет ни одной «темы», ни одного бытового явления, которые не подлежали бы христианскому осмыслению и освещению, по возможности освящению, поскольку они принадлежат подлинной, церковной истории человечества.

В личной и общественной жизни, он — профессор, пастырь, исполнитель священных таинств, исповедник, друг. В глубине своего «я» он переносит победно «жестокие» испытания, для него вероятно самые тяжелые, которые такой человек мог выстрадать и не погибнуть. «Огненного искушения не чуждайтесь», страшно и ему сказал Апостол Петр, а Павел (впрочем не менее страшно) утешает: «верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». После искуса интеллектуального (крушение кумира под напором своей собственной беспощадно честной мысли), сердечное испытание: изгнание из самого задушевного для его плоти, крови и культуры, из родины, и наблюдение за осквернением ее святыни; потом, физическое и психологическое: он, человек слова и проповедник, преподаватель и совершитель богослужебных возгласов, лишается голоса, утонченно, — он следит в зеркале, как ему бережно вырезают голосовые связки. Наконец (а может быть было и другое?), мистическое: он испытывает, сродно с Мотовиловым, но не аналогично ему, плотское и душевное умирание и крестную оставленность Богом.

В выражении своего творчества, Булгаков также перенес тяжелое испытание. «Все христианство стоит перед великими и новыми задачами... все христианство по новому сознает необходимость общецерковного единения и его ищет... Мы свободны в своем богословствовании, и наша свобода есть церковная свобода, верных и любящих сынов Церкви, а не взбунтовавшихся рабов. Мы хотим свободной преданности Церкви, верности ее преданию,

но верности творческой», исповедовал он на актовой речи Парижского Богословского Института (**При реке Ховаре**). И кто с ним и большей частью благодаря ему не убежден, что «пришло время для **православного** уразумения истории догматов, в качестве догматической диалектики, в которой раскрывается для богословской мысли церковная истина?» (**Агнец Божий**). На этом подвиге, о. Сергий тоже подвергается догматически-духовному соблазну и искушению: его заподозривают в ереси.

По этому поводу Вселенского Собора не будет, потому что и ереси никакой нету: сам автор достаточно растолковал, что его богословствование — личное размышление о догматах, на них основанное, но их не переопределяющее. Кстати сказать, напомним, что, на булгаковском философском языке, Богочеловечество выражает догматическую общность Бога и человека и что Премудрость, пресловутая «София», подобно Богочеловечеству, — соответствует интуиции русской религиозной мысли (см. Соловьева и Флоренского, основанная на Ветхом Завете), которой о. Сергий пользуется и которую развивает, чтобы дать отчет о необходимой общности и одновременно о непостижимой и непроходимой разнице между Творцом и творением. София, Божественная и тварная — мистико-философское понятие или категория, позволяющая связать апофатическое богословие и абсолютную тайну Пресвятой Троицы с философией и относительной тайной человека и космоса. Софиология, таким образом, должна рассматриваться, в смысле философии мира, как экклезиология. После Булгакова, я просто не вижу, как можно было бы, рано или поздно, обойти эту категорию богословия при толковании проявления и откровения «Божественной плеромы», которую о. Сергий и называет «Софией» (уже в **Траг. Филос.**).

Оставим это до времени, чтобы просто отметить исключительную, пребывающую ценность Булгакова в том, что он именно с **догматической** точки зрения, т. е. православно церковной, разбирал все темы, входящие в его мировоззрение: от человеческого земного обрабатывания (**Филос. Хозяйства**) до **О чудесах Евангельских** и ангелологии (**Лествица Иаковля**), от Пикассо (**Труп красоты, Тихие Думы**) и Моцарта и Сальери (там же) до **Иконы и иконопочитание** и светлых праздников (**Радость церковная**), от Религии человекобожия (**Два Града**) до тайны Отца (**Утешитель**) и Премудрости Богочеловечества (большая трилогия), от **Трагедии Философии** до **Апокалипсиса**. И т. д.

Помимо содержания этих трудов, подчас гениального, живи-

тельно величие автора в наглядном доказательстве **смысла творчества**, уже упомянутого, не как раб, который «не знает, что делает господин его», а как освобожденный Истиной «друг», по слову Сына Божьего. И это есть потрясающая «демонстрация» о. Сергия, экзистенциальная и философская, литургийная и опытная. «Церковь есть жизнь, творчество, порыв» (**Два Града**). Тут же он цитирует известную Речь на обеде в память Мицкевича Вл. Соловьева: «Церковь, как и отчина, как и библейская «жена юности», должна быть для нас внутренней силой неустанного движения к вечной цели, а не подушкой успокоения». В этом и заключается мужественный призыв о. Сергия: «Дерзайте!», не к гордости и самочинству, а к богословскому служению православия. В наш век вселенского кризиса христианства, стало теперь для всех достаточно ясно, что Православие и, более определенно, его русское восприятие, переживание и толкование, следуя Отцам Церкви, и после веков внешнего зимования, сохранило непорочным Христово учение и способно именно **догматически** его развивать и о нем творчески свидетельствовать. «Новые задачи должны быть разрешаемы, а не устраняемы... Не невежеством и обскурантизмом надо служить религии, которая величайшим, непрощаемым грехом считает «хулу на Духа Святого» (**Тихие Думы**). И Булгаков, вместе со своими соратниками Логоса доказывает, что в наше время, Православие духовно и умственно **свободно** изыскивать и раскрывать это «новое», органически, без перебоев ни растерянности в побегушках за миром, связывая его с «прошлым», чтобы находить и выявлять в нем «вечное». «Христианство существует только в живом, конкретном церковном предании, а вне его остается лишь наука о христианстве, да пережитки старого» (**Тихие Думы**).

Это с особенной силой завещает нам Булгаков, на основании всестороннего церковного **опыта**, нам указывая на полноту его, где абсолютно все является **религией**, отношением между Богом и миром. Тут по всей вероятности коренная черта и глубинное свойство о. Сергия. Приходит на память, что он, например, говорил и писал об иконографии, где «мир предстает Богу» в деисусном ряду; или, что нет существенной разницы между мыслителем и молитвенником и не должно бы быть между молитвою и действием в мире.

Конечно, все это по существу не ново, это известное учение Отцов, уже Евагрий говорил: кто молится, тот богослов, и обратно; и т. д. Но дело в том именно, что речь идет о **вечном** и что

весь труд мыслителя на земле состоит в том, чтобы это вечное находить и раскрывать для себя и для братьев церковных при наитии Духа Святого, на созидание Тела Христова, в исполнении совершенного Богочеловека. Как раз в продолжение такой живой и развивающейся последовательности — главная характеристика о. Сергия, именно как догматиста, опытом и мыслью исходящего из Предания и устремленного к царственному свершению Парусии (в чем состоит и суть Евангелия). «Те творческие задачи, которые встают перед современным человечеством, должны быть постигаемы в свете грядущего преобразования мира, как задания религиозного творчества, как исполнение заветов Христовых» (**Невеста**).

Если же, наконец, осмеливаться давать оценку творчеству Булгакова «теперь», одна из его самых «актуальных» заслуг, мне кажется, — откровение о существовании, **смысле** и **деле** Церкви. Она не просто «сакраментально-иерархическая организация... а исполнение предвечного плана Божия в отношении к творению, его спасения, освящения, прославления, обожения, осоефияния. Церковь в этом смысле есть самая основа творения, внутренняя его цель-причина» (**Невеста**). Поскольку спасаемый Христом мир и есть Церковь, процесс его преобразования совпадает с историей Воплощения и вхождением в Царство: «цель истории ведет за историю, к жизни будущего века, а цель мира ведет за мир, к новой земле и к новому небу» (**Свет Невечерний**).

Это мистическое и богословское созерцание самых древних Отцов, исходя от Откровения Иоанна и оставшееся удивительным достоянием именно Православия (несмотря на то, что Апокалипсис выпал из богослужебного обихода, как будто в обряде Церковь стесняется провозглашать тайну о себе самой), в наше время стало, благодаря Булгакову, неотложной частью нашего свидетельства и как бы условием нашей исторической реальности, поскольку мы способны постичь и «нести», что Церковь есть «тайнство всех таинств, всетайнство... сама Церковь, как Богочеловечество, сущее Боговоплощение и Пятидесятница Духа в их пребывающей силе. И это всетайнство, как неимеющее для себя границ, совершается в мире и человечестве, над всем миром и над всем человечеством, и притом всегда, ныне и присно и во веки веков» (**Невеста**).

(Святки 1971-1972 г.)